

INSPIRIA

Ричард Флэнаган

Мастерски написанный
роман о любви
и мужестве

УЗКАЯ
ДОРОГА
НА ДАЛЬНИЙ
СЕВЕР

18+



Ричард Флэнаган

Узкая дорога на дальний север

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17195121

Узкая дорога на дальний север: Издательство «Э»;

ISBN 978-5-04-206588-0

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Август 1943 года. Австралийский хирург Дорриго Эванс в японском плену. Под его командованием десятки солдат строят железную дорогу в джунглях, претерпевая побои и рабские условия. Однажды он получает письмо, которое переворачивает его мировоззрение, заставляя вспомнить о романе с женой своего дяди, цене своих решений и искуплении.

Настоящий литературный шедевр австралийского писателя и лауреата Букеровской премии Ричарда Флэнагана с помощью тонких реминисценций перемещает нас из прошлого в будущее, чтобы показать, как незначительные события формируют всю карту судьбы.

Содержание

1	4
2	7
3	14
4	18
5	23
6	25
7	35
8	37
9	41
10	44
11	46
12	50
13	55
14	60
15	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Ричард Флэнаган

Узкая дорога на дальний север

Заключенному san byaku san jū go (335)¹

Мама, они стихи пишут.
Пауль Целан²

© Мисюченко В., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «ЭКСМО», 2025

*Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела...
О, с какой неохотой!³*

Басё

1

Вот почему начало чего угодно всегда – свет? Самое раннее воспоминание Дорриго Эванса – солнце, затопившее своим светом церковный зал, где он сидит с матерью и ба-

³ Перевод сян. Веры Марковой.

бушкой. Деревянный церковный зал. Слепящий свет, и он, топающий вперевалку туда-сюда, то предаваясь непостижимому радушию света, то выходя из него и попадая на руки к женщинам. Женщинам, любившим его. Было похоже, как будто заходишь в море и возвращаешься на пляжный песок. С волны на волну.

«Храни тебя Бог, – произносит мама, держа его на руках и опуская на пол походить. – Храни тебя Бог, мальчик мой».

Год, должно быть, 1915-й или 1916-й. Ему год или два. Позже подступила тень от поднятой руки, ее черный контур внезапно возник в сальном свете керосиновой лампы. Джеки Магвайр сидит на тесной кухоньке Эвансов, плачет. Тогда никто не плакал, кроме маленьких детей. Джеки Магвайр был стариком лет сорока, наверное, а то и больше, и все старался смахнуть тыльной стороной ладони слезы со своего изъеденного оспинами лица. Или он это пальцами проделывал?

В памяти Дорриго Эванса застряло только то, что старик плакал. Звук был такой, будто что-то ломалось. Замедляющийся ритм рыданий напомнил ему, как бил задними ногами о землю кролик, попавший в силки, единственный из всех слышанных в жизни звуков, что был похож. Да и выбор-то, с чем сравнивать, невелик: ему девять лет, зашел домой показать матери кровавый волдырь на большом пальце. До этого он всего раз видел, как плачет взрослый мужчина, зрелище поразительное. Случилось это, когда его брат, Том,

вернулся с Большой войны во Франции и сошел с поезда. Швырнул вещмешок в горячую пыль запасного пути и вдруг разразился слезами.

Глядя на брата, Дорриго Эванс все гадал, что же такое могло заставить взрослого заплакать. Заплакать стало означать просто дать выход чувствам, а чувство – единственный в жизни компас. Чувствовать сделалось модой, а эмоция стала театром, в котором люди актеры, давно позабывшие, что они собой представляют вне сцены. Дорриго Эвансу суждено было прожить достаточно долго, чтобы стать свидетелем всяческих перемен. И он запомнил время, когда люди стыдились плакать. Когда они боялись слабости, которую выдавали слезы. Беды, какую они накликали. Он доживет и увидит, как люди станут нахваливать то, что не заслуживает похвалы, просто потому, что считают, будто истина дурно скажется на их чувствах.

В ночь, когда Том вернулся домой, сожгли на костре чучело кайзера. Том ничего не рассказывал о войне, о немцах, о газах, танках и траншеях, слухи о которых долетали и до них. Он вообще ни о чем не рассказывал. То, что один человек чувствует, не всегда соответствует всему, чем полна жизнь. Порой это вообще не очень-то чему-нибудь соответствует. Брат только смотрел не отрываясь на язычки пламени.

У человека счастливого нет прошлого, тогда как у несчастливого не остается ничего другого. В старости Дорриго Эванс не мог понять, то ли он эти слова вычитал где, то ли сам сложил. Сложил, замесил, вывалил. Вываливается беспрестанно. Камень в гравий, гравий в пыль, пыль в грязь, грязь в камень – и так мир вертится, как, бывало, говаривала его мать, когда он требовал объяснений, почему в жизни должно быть так или этак. «Мир существует, – говорила мать. – Он *просто есть*, мальчик мой». Мальчик изо всех сил старался выковырять камень из породы, чтобы построить форт для игры, в какую он играл, когда другой камень, побольше, упал ему на большой палец, отчего под ногтем вздулся большой ноющий кровавый волдырь.

Мать подтолкнула Дорриго к кухонному столу, где лампа светила ярче всего, и, избегая странного пристального взгляда Джеки Магвайра, поднесла к свету большой палец сына. Жена Джеки на прошлой неделе села в поезд с их самым младшим ребенком, уехала в Лонсестон и не вернулась.

Мать Дорриго взяла разделочный нож. По кромке его лезвия тянулась желтоватая полоска застывшего бараньего жира. Мать сунула кончик ножа в угли кухонной плиты. Взвился легкий дымок, наполняя кухню запахом подгоревшей баранины. Мать вытащила нож, с его красного от жара кончика

слетали, сверкая, искорки добела раскаленных бриллиантовых пылинок, Дорриго виделось в этом чудо и одновременно что-то пугающее.

– Стой смирно, – велела мать, ухватив его руку с такой силой, что он даже удивился.

Джеки Магвайр уже рассказывал, как он отправился на почтовом поезде в Лонсестон, как искал жену повсюду, но так и не смог ее нигде найти. На глазах у Дорриго раскаленный кончик коснулся его ногтя, дым пошел, когда мать стала прожигать дырку у основания ногтя. Мальчик слышал, как Джеки Магвайр сказал:

– Она пропала с лица земли, миссис Эванс.

Вслед за дымом из его большого пальца вырвалась струйка темной крови, и боль от кровавого волдыря ушла вместе со страхом перед раскаленным разделочным ножом.

– Катись, – произнесла мать Дорриго, подталкивая его прочь от стола. – Теперь проваливай, мальчик мой.

– Пропала! – сокрушался Джеки Магвайр.

Было это в те времена, когда мир был широк и остров Тасмания все еще таил в себе целый мир. Времена многочисленных отдаленных и заброшенных форпостов по всему острову, лишь немногие из которых более заброшены и отдалены, чем Кливленд, селенье душ в сорок, где жил Дорриго Эванс. Старое исправительное поселение осужденных пережило суровые времена и выпало из памяти, теперь оно сохранялось благодаря ветке железной дороги: горстка разва-

люх в георгианском стиле и разбросанные деревянные коттеджи, опоясанные верандами, служили прибежищем тем, кто пережил век ссылок и утрат.

В селении, на которое так и напирали леса корявых эвкалиптов и серебристой мимозы, волнующейся и танцующей в жару, летом было жарко и тягостно, а зимой тягостно, просто тягостно. Электричеству с радио сюда только предстояло добраться, и если бы не было известно, что на дворе 20-е годы XX века, их вполне можно бы считать 80-ми, а то и 50-ми годами века XIX. Много лет спустя Том, человек, к аллегориям не склонный, но, видимо, понуждаемый (так, во всяком случае, считал в то время Дорриго) собственной предстоящей смертью и ее спутником, ужасом старости, делавшими всю жизнь лишь аллегорией, а настоящее чем-то нездешним, выразил это так: похоже на долгую осень умирающего мира.

Их отец был ремонтником на железной дороге, и его семья жила в одном из дощатых домиков Тасманийской государственной железной дороги прямо около путей. Летом, когда уходила вода, они ведрами черпали ее из бака, сооруженного для заправки паровых локомотивов. Спали под шкурами попавших в силки опоссумов, питались же в основном кроликами, которых загоняли в западни, да кенгуру-валлаби, которых отстреливали, картошкой, которую сами растили, да хлебом, который сами пекли. Отец, переживший кризис 1890-х годов и своими глазами видевший, как на улицах Хобарта люди мерли с голоду, поверить не мог, что ему по-

везло в конечном счете остаться в живых в этом раю труда. Он еще говаривал, когда оптимизм его оставлял: «Живешь как собака и сдохнешь как собака».

Дорриго Эванс знал Джеки Магвайра по каникулам, которые иногда проводил у Тома. Чтобы добраться до Тома, надо было успеть доехать на задке подводы Джо Пайка из Кливленда до поворота на долину Фингал-Вэлли. Пока старый тяжеловоз Джо Пайка по кличке Грейси приятно трусил по дороге, Дорриго раскачивался взад-вперед, воображение превращало его в одну из суковатых ветвей бешено трясущихся эвкалиптов, которые тыкались в высокое синее небо и пролетали впереди. Он вбирал в себя запах сырой коры и сохнувших листьев, смотрел, как высоко над головой пересмешничали кланы зелено-красных мускусных попугаев-лори. Он упивался птичьим пением крапивников и медососов, криками какой-то хищной птицы, похожими на щелканье хлыста, перемежавшимися мерным топотом копыт Грейси, поскрипыванием и позвякиванием кожаных ремней, деревянных осей и железных цепей телеги – вселенная ощущений, которая возвращалась во снах.

Они держали путь по старой каретной дороге, мимо каретной гостиницы, которую разорила железная дорога, и теперь она превратилась только что не в руины, где обитали обнищавшие семьи, в их числе и семейство Джеки Магвайра. Через каждые несколько дней облако пыли возвещало о приближении автомобиля, ребятишки, выбравшись из кустов и

каретного сарая, с громким криком бежали за ним, пока их легкие не охватывал пожар, а ноги не наливались свинцом.

У поворота на Фингал-Вэлли Дорриго соскакивал с телеги, махал на прощание рукой Джо и Грейси и отправлялся пешком до Лливелина, городка, отличавшегося главным образом тем, что был он еще меньше Кливленда. Оказавшись в Лливелине, он шел прямо на северо-восток через загоны и, держа путь на укрытую снегом громадину горы Бен Ломонд, в снежную страну с той стороны Бена, где Том по две недели через одну работал капканщиком, ставил силки на опоссумов. Часа через два после полудня он добирался до жилища Тома, пещеры в отроге ниже уровня хребта, где брат и гнезвился. Размерами пещера была чуть меньше их забитой миллионом разных вещей кухни. В ее самом высоком месте Том мог встать, пригнув голову. Пещера, подобно яйцу, сужалась в оба конца. Вход в нее был занавешен, а значит, хранящий в ней тепло костер мог гореть всю ночь.

Иногда Том, которому уже несколько лет как перевалило за двадцать, брал себе в напарники Джеки Магвайра. Том, обладавший хорошим голосом, частенько на ночь пел песню-другую. А после, при свете костра, Дорриго читал вслух неграмотному Джеки Магвайру и Тому, утверждавшему, что он читать умеет, из какого-нибудь старого номера «Буллетин» или «Смитс уикли», которые составляли библиотеку двух капканщиков на опоссумов. Им нравилось, когда Дорриго читал что-нибудь из рубрики «Советы тетушки Розы»

или баллады о жизни буша⁴, которые слушатели находили «толковыми», а то и вовсе «очень толковыми». Через некоторое время Дорриго стал заучивать для охотников наизусть другие стихотворения из школьной книжки «Английский Парнас». Больше всего им полюбился «Улисс» Теннисона.

Изъеденное оспинами лицо улыбается в свете костра, ярко блестя, словно свежеиспеченный сливовый пудинг, и Джеки Магвайр приговаривает: «От в старину люди были! Во народ! Слова эти самые умели в струнку вязать крепче медной петли, что кролика душит!»

И Дорриго не признался Тому, что за неделю до пропажи миссис Магвайр видел, как брат забрался рукой ей под юбку, когда она (маленькая, крепенькая, по-иноземному смуглая) привалилась к куриному насесту позади каретного сарая. Том лицом зарылся ей в шею. Дорриго понимал: брат ее целовал.

Много лет Дорриго часто вспоминал о миссис Магвайр, настоящего имени которой он никогда не знал, настоящее имя которой походило на еду, что каждый день снилась ему в лагерях для военнопленных: как бы есть, а вот и нет, вламывалось в череп нечто, всегда ускользавшее, стоило только к нему потянуться. Время шло, и он стал думать о ней не так часто, а когда прошло еще больше времени, вообще пе-

⁴ Устойчивое и много значащее для австралийцев (как степь для казахов или нагорье для шотландцев) название обширных необжитых пространств, поросших кустарником или низкорослыми деревьями.

рестал о ней думать.

Дорриго был единственным в семье, одолевшим в двенадцать лет экзамен на способности⁵ после начальной школы, и потому получил стипендию, позволившую ему учиться в Лонсестонской средней школе. В классе он был переростком. В свой первый день, во время обеденного перерыва, он забрел на так называемый верхний двор, ровную площадку из увядшей травы и пыли, коры и листьев, в одном углу которой росло несколько больших эвкалиптов. Смотрел, как старшие ребята из третьего и четвертого классов, некоторые с короткими бачками, мальчишки с уже развитыми мужскими мускулами, становились в два буйных ряда, толкались, пихались, будто исполняли движения какого-то ритуального танца. Потом начиналась магия игры в удар на удар. Кто-нибудь из ребят бил по мячу, отправляя его из своего ряда через двор к другому ряду. И все мальчишки из того ряда вместе бросались бегом к мячу и, если тот летел высоко, подпрыгивали вверх, стараясь его поймать. Тот же, кому после буйной схватки возле зачетной зоны удавалось перехватить мяч и приземлить его за отметкой, тотчас будто обретал свя-

⁵ В Великобритании и ее колониях закончившие пятилетний курс начальной школы сдавали экзамен, так называемый «одиннадцать плюс», по результатам которого одним позволялось завершить среднее образование в школе, другим предстояла учеба в училищах.

тость. И ему, баловню, полагалась награда: ударом вернуть мяч обратно к другому ряду, где все начиналось сызнова.

Так и шла игра, весь обеденный час. Верховодили неизбежно старшие ребята, им выпадало больше всего удачных прорывов за отметку, они же получали право на большинство ударов. У некоторых мальчишек помладше было по несколько прорывов и ударов, у многих – по одному, а то и ни одного.

В тот первый раз Дорриго весь обеденный перерыв просмотрел. Один одноклассник-первогодок убеждал его, что надо дорасти по крайней мере до второго класса, прежде чем выпадет шанс сыграть в удар на удар: старшие ребята слишком сильны и слишком быстры, им ничего не стоит совладать с соперником, они не задумываясь врежут тебе локтем по башке, или кулаком в лицо двинут, или коленом в спину поддадут. Дорриго заметил, как некоторые из мальчишек помладше слонялись позади своры играющих, держась в нескольких шагах, готовые урвать случайный мяч, если тот после удара взлетит чересчур высоко и пролетит над схваткой.

На второй день он присоединился к ловцам удачи. А на третий оказался прямо позади игроков, когда за их плечами разглядел, как в вышине летит к ним кувыркающаяся капелька. На мгновение она затмила солнце, и Дорриго понял: этот мяч – его добыча. Он чуял запах муравьиной мочи на эвкалиптах, почувствовал, как разбежались их веревочные

тени, когда он припустил вперед, к своре игроков. Время замедлилось, в гуще толпы он отыскал то самое место, куда сейчас бросились самые высокие и сильные ребята. Он понял, что летящий с солнца мяч предназначен ему и все, что от него требуется, – это вознестись. Взгляд его был устремлен только на мяч, но он понял: ничего у него не выйдет, если он побежит с той быстротой, на какую способен, – а потому он прыгнул, ноги его уперлись в спину одного, колени оседлали плечи другого, так и взобрался при полном блеске солнца выше всех остальных ребят. На пике их борьбы он высоко вытянул над собой руки, ощутил, как мяч крепко вошел в ладони, и понял: теперь можно начать падать с солнца.

Крепко прижимая к себе мяч, он так сильно ударился о землю спиной, что едва не лишился дыхания. Захлебываясь с открытым ртом, он поднялся на ноги и стоял там в потоке света, держа овальный мяч, готовя себя к тому, чтобы войти в большой мир.

Когда он ковылял обратно, малышня почтительно расступалась перед ним.

– Ты, слышь, кто такой? – спросил один из старших.

– Дорриго Эванс.

– Это было – блеск, Дорриго. Тебе бить.

Запах коры эвкалипта, яркий голубой свет тасманийского полудня, такой резкий, что пришлось сильно прищуриться, чтобы перестало резать глаза, жар солнца на тугой коже, жесткие, короткие тени остальных, ощущение, что стоишь

на пороге радостного вхождения в новую вселенную, пока твою старую можно по-прежнему познавать и удерживать, она все еще не потеряна, — все это испытывал он, все это сознавал, как и горячую пыль, пот других мальчишек, смех, непривычную и чистую радость быть с другими.

— Вдарь! — услышал он чей-то крик. — Бей, слышь, пока звонок не прозвенел и все не кончилось.

И в самых потаенных глубинах своего существа Дорриго Эванс понимал: вся его жизнь была путешествием вот к этой точке, когда он на мгновение взлетел к солнцу, а теперь на весь остаток жизни ему предстоит путешествие прочь от светила. Ничто и никогда не предстанет ему такой же реальностью. Жизнь никогда больше не наполнится таким же смыслом.

– Какие мы умненькие, а, развратник? – произнесла Эми. Она лежала с ним в постели гостиничного номера восемнадцать лет спустя после того, как он видел Джеки Магвайра, плакавшего на глазах у его, Дорриго, матери. Эми водила пальчиком в его обрезанных кудрях, пока он читал ей наизусть «Улисса». Номер был на третьем этаже затрапезной гостиницы, из комнаты стеклянные двери вели на просторную веранду, которая (скрывая собою все признаки дороги внизу и пляжа напротив) создавала иллюзию, будто сидят они на просторе Южного океана и слушают, как его воды, не зная устали, с шумом накатывают и откатывают внизу.

– Это уловка такая, – сказал Дорриго. – Вроде как монету из чьего-то уха вытащить.

– Нет, это не уловка.

– Да, – согласился Дорриго. – Не уловка.

– А что же тогда?

Уверенности у Дорриго не было.

– А эти греки, троянцы эти... это все зачем? Какая разница?

– Троянцы были семейством, родом. Они потерпели поражение.

– А греки?

– Греки?

– Нет. Регбисты из «Портовых болтунов Аделаиды». Конечно, греки. Что они собой представляют?

– Насилие. Но греки – наши герои. Они побеждают.

– Почему?

В точности он не знал почему.

– Это их уловка была, разумеется, – сказал он. – Троянский конь, приношение богам, в котором пряталась людская смерть, одно внутри другого.

– Почему же мы их тогда не ненавидим? Греков-то?

В точности он не знал почему. И чем больше думал об этом, тем меньше был способен разъяснить и то, почему так получается, и то, отчего род троянский был обречен. У него было ощущение, что «боги» просто были еще одним названием времени, но чутье подсказывало ему, что болтать об этом так же глупо, как и утверждать, что мы никоим образом не способны взять верх над богами. Но в двадцать семь (скоро двадцать восемь стукнет) он уже относился к собственной судьбе, если и не к судьбам других, как своего рода фаталист. Получалось, будто жизнь можно представить, но никогда нельзя объяснить, а к словам (ко всем словам, которые напрямую не обозначают предметы) он относился с наибольшим доверием.

Взгляд его, минуя обнаженное тело Эми, скользнул над опущенным крохотными волосками полумесяцем, по кромке которого ее торс сходил с бедрами, и устремился туда, где в раме с облупившейся белой краской, за дверями из тол-

стого стекла, лунный свет ложился на море узкой дорожкой, убегавшей от его взгляда и прятавшейся среди распростершихся по небу облаков. Получалось, будто свет ожидал его.

*Мой умysel – к закату парус править,
За грань его, и, прежде чем умру,
Быть там, где тонут западные звезды⁶.*

– Почему ты так любишь слова? – услышал он вопрос Эми.

Мать его умерла от туберкулеза, когда ему было девятнадцать. Дорриго при этом не было. Его даже на Тасмании не было, потому что он жил на материке и получал стипендию на обучение медицине в Мельбурнском университете. По правде говоря, не одно только море разделило их. В Ормондском колледже он познакомился с людьми из благородных семей, гордых своими достижениями и генеалогиями, восходившими к временам еще до открытия Австралии, к лучшим фамилиям Англии. Они могли перечислять поколения за поколениями своего рода, кто из него занимал какие посты в политике и должности в компаниях, династические браки, родовые владения из дворцов и овцеводческих хозяйств. Лишь стариком стал он понимать, что большая часть всех этих рассказней – вымысел похлеще всего, к чему под-

⁶ Орывок из стихотворения А. Теннисона «Улисс». –Здесь и далее в переводе К. Бальмонта.

ступался Троллоп.

С одной стороны, это было феноменально скучно, с другой – увлекательно. Никогда прежде Дорриго не встречал людей, наделенных такой уверенностью. Иудеи и католики – существа низшие, ирландцы безобразны, китайцы и аборигены – вообще не люди. Они о таких вещах даже не размышляли. Они это – знали. Их курьезы и странности поражали. Их дома из камня. Весомость их столового серебра. Их невежество в том, что касается жизни других людей. Их слепота к красоте природного мира. Свое семейство Дорриго любил. Но он им не гордился. Главное семейное достижение – выживание. Целая жизнь понадобится ему, чтобы оценить, что это было за достижение. В то же время, однако, оно казалось ему неудачей (да еще на фоне почестей, богатства, собственности и славы, с какими он сталкивался впервые в жизни). И вместо того чтобы устыдиться, он попросту отдалился от семьи до самой смерти матери. На ее похоронах он не плакал.

– Ну же, Дорри, – понукала его Эми. – Почему? – И потащила палец вверх по его бедру.

Потом он стал бояться замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов и танцев – всего, что сдавливало его изнутри и лишало света. Затруднилось дыхание. Он слышал, как во снах она зовет его. «Мальчик, – говорила она, – приезжай сюда, мальчик мой».

Но он не поехал. Едва не завалил экзамены. Читал и перечитывал «Улисса». Еще раз сыграл в регби в поисках света,

того мира, какой когда-то мельком увидел в церкви. Взлетал и вновь взлетал к солнцу, пока не стал капитаном, пока не стал врачом, хирургом, пока не оказался с Эми в гостиничной постели, следя, как восходит луна над равниной ее живота. Он читал и перечитывал «Улисса»:

*Мерцая, отступает свет от скал,
Укоротился долгий день, и всходит
Медлительно над водами луна.
Многоголосым гулом кличет бездна.
Плывем, друзья, пока не слишком поздно
Нам будет плыть, чтоб новый мир найти.*

Он вцеплялся в свет, бывший началом чего угодно.
Читал и перечитывал «Улисса».
Оглянувшись на Эми, Дорриго Эванс проговорил:
– Слова были первой прелестью, какую я только узнал.

Когда через час он проснулся, она красила губы вишнево-красной помадой, затушевывала свои горящие газовым пламенем глаза и поправляла волосы, придавая лицу форму сердечка.

– Эми?

– Мне пора уходить.

– Эми...

– А потом...

– Останься.

– Для чего?

– Я...

– Для чего? Это я уже слышала...

– Я хочу тебя. Каждый миг, когда ты со мной, я хочу тебя.

– ...Слишком много раз. Ты уйдешь от Эллы?

– Ты уйдешь от Кейта?

– Надо бежать, – сказала Эми. – Обещала вернуться через час. Карточный вечер. Можешь себе представить?

– Я вернусь.

– Неужели?

– Наверняка.

– И что тогда?

– Вообще-то это тайна.

– Наша?

- Нет. Да. Нет, войны. Военная тайна.
- Что?
- Нас отправляют на кораблях. В среду.
- Что?
- Через три дня...
- Когда среда, я знаю. Куда?
- На войну.
- Куда?
- Откуда нам знать?
- Куда ты отправляешься?
- На войну. Она повсюду, война-то, разве не так?
- Я тебя еще увижу?
- Я...
- Мы? А мы?
- Эми...
- Дорри, я тебя еще увижу?

У Дорриго Эванса было такое чувство, словно пятьдесят лет прошли среди хрипящего дрожания где-то в холодильной установке. Таблетка от ангины начала действовать, давящая тяжесть в груди отпускала, покалывание в руке прекратилось, и хотя какие-то внутренние расстройства, неподвластные медицине, еще оставались в его трепещущей душе, чувствовал он себя вполне сносно, чтобы добраться от гостиничной ванной комнаты до спальни.

На обратном пути к постели он взглянул на ее обнаженное плечо, нежное и гладкое в изгибе, которое неизменно вызывало у него волнение. Она слегка приподняла лицо, подернутое сном, и спросила:

– Ты о чем говорил?

Вновь улегшись, обняв ее и прижавшись к ней, он понял, что она имеет в виду их прежний разговор, еще до того, как она уснула. Где-то вдали (словно бросая вызов всей меланхолии звуков раннего утра, доносившихся и вылетающих из их номера городской гостиницы) дико взревела машина.

– О Смугляке, – шепнул он ей в спину так, словно это само собой разумелось, потом, поняв, что это не так, добавил: – Гардинере. – Когда выговаривал, нижняя губа захватила ее кожу. – Не могу вспомнить его лица, – напомнил он.

– На твое лицо не похоже, – сказала она.

«Это тут совсем ни при чем, – подумал Дорриго Эванс. – Смугляк Гардинер умер, и это совсем ни при чем». Вот поэтому, изводил он себя, и не смог написать что-нибудь так понятно и просто, потому как не получилось представить себе лицо Смугляка Гардинера.

– От такого временного повреждения в уме никуда не деться, – произнесла она.

Дорриго улыбнулся. Он все не мог привыкнуть к ее словечкам вроде «временное повреждение в уме». Положим, он знал, что в душе она вульгарна, но все ж воспитание и от нее требовало подобных языковых изысков. Он задержал свои старческие сухие губы на коже ее плеча. Как там было про женщину, от которой он и теперь трепещет, точно рыбака какая?

– Ни тебе телик включить, ни журнальчик раскрыть, – продолжала она, радуясь собственной шутке, – без того, чтоб не увидеть, как оттуда твой нос торчит.

И в самом деле Дорриго Эвансу, который никогда о том не задумывался, представлялось, что его собственное лицо торчит отовсюду. С тех пор как лет двадцать назад он впервые был выставлен на всеобщее обозрение в телевизионном шоу, посвященном его прошлому, лицо его взирало на него с чего угодно, от благотворительных бланков до памятных монет. Носатое, смущенное, слегка растерянное, волосы, когда-то курчавые и темные, теперь прикрывали его жиденькой белопенной волной. В годы, которые у большинства его

сверстников именовались «закатными», он вновь возносился к свету.

В последние годы он непостижимым для себя образом сделался героем войны, знаменитым и прославленным хирургом, общественным символом времени и трагедии, персонажем биографий, пьес и документальных фильмов. Предметом поклонения, идеализации, лести. Он понимал, что у него с героем войны были какие-то общие черты, привычки и история. Но он им не был. Просто он больше преуспел в сохранении жизни, чем в ее утрате, да и не так много осталось людей, удостоенных мантии военнопленных. Отвергать почитание представлялось оскорблением памяти тех, кто погиб. Он не мог себе такого позволить. Кроме того, у него и сил уже не было.

Как бы его ни прозывали: герой, трус, мошенник, – теперь все это, похоже, имело к нему отношение все меньше и меньше. Это принадлежало миру, куда как от него далекому и призрачному. Он понимал, что народ им восхищается (если отрешиться от тех, кому приходилось работать с ним как со стареющим хирургом), что его слегка презируют и, наверное, ему завидуют многие врачи, которые претерпели то же самое в других лагерях для военнопленных, но чувствовали, к несчастью для себя, что в его характере есть что-то такое, чего не дано им, что возносит его высоко-высоко над ними на волне всенародной привязанности.

Черт бы побрал тот документальный фильм!

Вот только тогда он против внимания не возражал. Втайне оно его, пожалуй, радовало. Но теперь уже – нет. О тех, кто ему косточки перемывает, ему небезызвестно. Так вышло, что по большей части он с ними соглашался. Слава казалась ему провалом восприятия со стороны других. Ему удалось избежать того, что сам он считал явными ошибками жизни, вроде политики и гольфа. Зато его попытки разработать новую хирургическую методику операций по удалению раковых опухолей толстой кишки успехом не увенчались, хуже того, возможно, пусть и не напрямую, привели к смерти нескольких пациентов. Он слышал, как Мэйсон однажды назвал его мясником. Возможно, если оглянуться на прошлое, он и правда был неосторожен. Вот если бы ему удалось, тогда б (он знал) его превозносили за смелость и дальновидность. Неустанное его волокитство за женщинами и неизбежно следующий за ним тенью обман давали поводы для мелких личных скандалов, но широкая общественность внимания на них не обращала. Его самого все еще в жар бросало от легкости и проворства, с какими он мог лгать, кружить головы и вводить в заблуждение, так что сам себя он, по собственным ощущениям, оценивал реалистически низко. То не было единственной составляющей его тщеславия, зато – одной из самых забавных.

Даже в таком возрасте (на прошлой неделе ему стукнуло семьдесят семь) он пугался того, что нрав натворил в его жизни. В конце концов он понимал, что то же бесстрашие,

тот же отказ мириться с условностями, тот же восторг от игры и тот же безнадежный голод, заставлявший вникать, как далеко смог бы он зайти в той или иной ситуации, которые побуждали его в концлагерях приходить на помощь другим, привели его еще и в объятия Линетт Мэйсон, жены его коллеги, Рика Мэйсона, такого же, как и он, члена научного совета Хирургического колледжа, блистательного ученого и невыносимого зануды. И еще не одной и не двух других. Была у него надежда: в предисловии, которое он тогда писал (не связывая себя ненужными откровениями), в конечном счете с честностью смирения как-нибудь отдать должное всему, вернуть свою роль в событиях на подобающее ей место – врача, не более и не менее, – и восстановить законную память о многих позабытых, сосредоточив основное внимание на них, а не на самом себе. Кое-где, по его ощущениям, это было необходимым актом исправления и раскаяния. Где-то еще глубже он опасался, что подобное самоуничтожение, подобное смирение лишь еще больше сыграет ему на руку. Он попал в западню. Его лицо мелькало повсюду, но он больше не в силах был припомнить лица тех, с кем вместе мучился.

– Стал именем я славным, – произнес он.

– Кто?

– Теннисон.

– Никогда о таком не слышала.

– «Улисс».

– Никто его больше не читает.

- Никто больше ничего не читает. Считается, что Браунинг – это пистолет.
- А я думала, для тебя один только «Лоусон»⁷ и существует.
- Так и есть. Когда не доходит до Кипплинга или Браунинга.
- Или Теннисона.
- Я часть всего, что повстречал в пути⁸.
- Это ты придумал, – заподозрила она.
- Нет. Это очень... как это говорится-то?
- ...Подходяще?
- Да.
- Ты способен все это наизусть шпарить, – сказала Линетт Мэйсон, пробегая ладонью вниз по его увядшему бедру. – И еще много чего. А вспомнить лицо человека не можешь.
- Не могу.
- Шелли пришел к нему, когда он был при смерти, а еще Шекспир. Пришли незваными и стали такой же частью его жизни, как и его жизнь. Словно бы жизнь можно заключить в книжку, в предложение, в несколько слов. Таких простых слов. «На праздник смерти ты приходишь. Бледна и холодна улыбка в лунном свете»⁹. Вот были люди в старину.

⁷ «Вильям Лоусон» – сорт шотландского виски.

⁸ Строка из стихотворения А. Теннисона «Улисс».

⁹ Строки из произведений У. Шекспира («Генрих VI»: «Приходишь ныне ты на праздник смерти...» –пер. Евгении Бируковой) и П. Б. Шелли («О Смерти»:

– Смерть – наш лекарь, – сказал он. Соски ее показались ему чудом. В тот вечер на ужине был один журналист, который допытывался у него про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

– Один раз – куда ни шло, – рассуждал журналист. – Но два?! Два-то зачем?

– Они были чудовищами, – заметил Дорриго Эванс. – Вам не понять.

Журналист спросил, были ли женщины и дети тоже чудовищами? И их еще не родившиеся дети?

– Радиация, – ответил Дорриго Эванс, – не оказывает пагубного воздействия на последующие поколения.

Только вопрос был не в том, и он знал это, а кроме того, он не знал, передаются ли пагубные воздействия радиации. Давным-давно кто-то сказал ему, что не передаются. Или передаются. Трудно вспомнить. Нынче он полагался на все более хрупкое предположение: то, что он говорит, правильно, а говорит он то, что правильно. Журналист, оказывается, написал статью про оставшихся в живых, встречался с ними, снимал их.

– Страдания этих людей, – говорил журналист, – были ужасны и тянулись всю жизнь.

– Беда не в том, что *выничего* не знаете о войне, молодой человек, – сказал ему тогда Дорриго Эванс. – Беда, что вы постигли всего одно. А война – это много чего.

Он повернулся, чтобы уйти. Потом вновь обернулся.

– Кстати, а вы поете?

Теперь Дорриго, как всегда, пытался выбросить из памяти тот жалкий, неуклюжий и откровенно постыдный разговор, отдавшись плоти и обмяв ладонью грудь Линетт так, чтобы сосок торчал меж двух пальцев. Однако мысли, уйдя из памяти, никуда не девались. Журналист, несомненно, рано или поздно еще вдоволь потопчется на истории о герое войны, который на поверку оказался поджигателем войны, фанатом атомной бомбы, к тому же еще и старым маразматиком, спросившим на прощание, не поет ли он!

Но что-то в том журналисте напоминало ему Смугляка Гардинера, хотя он и затруднился бы сказать, что именно. Не лицо. Не манеры. Улыбка? Щека? Смелость? У Дорриго он вызвал раздражение, но его восхитил отказ журналиста прогнуться под грузом известности Дорриго. Какая-то внутренняя сцепка – целостность, если угодно. Упор на истину? Трудно сказать. Он не мог указать на какую-то мимику, которая была бы похожа, какой-то жест, привычку. Душу охватывал непонятный стыд. Видимо, он вел себя по-дурацки. И неправильно. Он больше ни в чем не был уверен. Видимо, с того самого дня избиения Смугляка уверенность у него пропала во всем.

– Я стану чудовищной падалью, – прошептал он в коралловую раковину ее ушка, женского органа, невыразимо пленявшего его свой мягкостью, блудливым витым провалом,

который всегда, казалось, водоворотом затягивал его в неизведанное. И очень нежно поцеловал ее в мочку.

– Тебе следовало бы говорить, о чем ты думаешь, своими собственными словами, – сказала Линетт Мэйсон. – Словами Дорриго Эванса.

Ей было пятьдесят два, из детских лет вышла, но от глупости не отошла, саму себя презирала за ту власть, которой обладал над нею этот старик. Ей было известно, что у него не только жена есть, но и другая женщина. И, как она подозревала, еще одна или две. Не было у нее даже нечестивой славы его единственной любовницы. Линетт не понимала себя. Мужик закисал на дрожжах старости. Грудь у него провисла сморщенными титьками, в любовных утехах он был ненадежен, и все-таки вопреки здравому смыслу ей он представлялся цветущим. С ним она чувствовала себя как за неприступной каменной стеной: он ее любил. И все же она понимала, что одна часть его – та часть, которую ей хотелось больше всего, та часть, что была светом в нем, – так и оставалась неуловимой и непознанной. В ее снах Дорриго всегда летал выше ее на несколько дюймов. Частенько днем ее охватывал гнев, лились обвинения, угрозы, в ее отношениях с ним проступал холод. Зато попозже к ночи, лежа с ним рядом, она не желала никого другого.

– Небо было мерзко грязным, – говорил он, и она чувствовала, как готовится он воспрянуть еще разок. – Оно всегда уносило прочь, – продолжал он, – словно бы и ему от грязи

было не по себе.

Когда в начале 1943 года они прибыли в Сиам, было по-другому. Небо было чистым и неоглядным, это раз. Знакомое небо – во всяком случае, так ему думалось. Стоял сухой сезон, деревья были без листьев, джунгли прозрачными, земля пыльной. Была кое-какая еда, это два. Не много, не досыта, однако истощение еще не взяло свое и голод еще не поселился в желудках и мозгах солдат на правах чего-то сводящего с ума. Да и их работа на японцев еще не стала тем безумием, которое позже будет косить людей косой, будто мух. Трудно было, но до безумия в самом начале не доходило.

Когда Дорриго Эванс опустил взгляд, то увидел прямую линию из землемерных геодезических колышков, вбитых инженерами Имперской японской армии для обозначения железнодорожного пути, шедшего от места, где он стоял во главе партии безмолвных военнопленных. От японских инженеров они узнали, что колышки тянутся линией в четыреста пятнадцать километров от местечка севернее Бангкока и до самой Бирмы.

Они обозначили трассу большой железной дороги, до сих пор бывшей лишь чередой ограниченных планов, неисполнимых, по видимости, приказов и грандиозных увещеваний со стороны японского высшего командования. То была ле-

гendarная железная дорога, ставшая делом отчаяния и фанатизма, созданная из мифа и нереальности не меньше, чем из дерева и железа, ценой тысяч и тысяч жизней людей, которым предстояло полечь за последующий год строительства. Но какая реальность хоть когда-нибудь создавалась реалистами?

Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы.

– Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, – пробурчал Джимми Бигелу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие топора. – Жаль, старого пердуна здесь нет.

А потом, говоря по правде, никто этого и не вспомнит. Подобно всем величайшим преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей – все это, может, и существует-то лишь на этих страницах, да еще на страницах немногих других книг. Книга способна содержать ужас, придав ему и форму, и смысл. Но в жизни у ужаса формы не больше, чем смысла. Ужас просто есть. И пока он владычествует, во всей Вселенной будто и нет ничего, во что бы он ни воплотился.

Начало тому, о чем рассказано в этой книге, было положено 15 февраля 1942 года, когда с падением Сингапура рушится одна империя и поднимается другая. Тем не менее к 1943 году Япония, теряя последние силы и ресурсы, проигрывает, и тогда провозглашается ее потребность в железной дороге. Союзники поставляют националистической армии Чан-Кайши в Китае вооружение через Бирму, а американцы держат под контролем моря. Чтобы прервать жизненно важную линию поставок своему китайскому противнику и через Бирму завладеть Индией (о чем уже безумно мечтают японские правители), Японии необходимо снабжать свои бирманские войска людьми и снаряжением по суше. Однако для строительства нужной для этого железной дороги нет ни

денег, ни техники. Нет и времени.

У войны, впрочем, своя логика. У Японской империи есть вера в победу: неукротимый японский дух, тот самый, которого нет у Запада, тот дух, что прозывается и понимается как воля императора, именно *этот* дух и дает веру в то, что он возобладает до своей самой окончательной победы. А прибавлением к столь неукротимому духу, подкреплением для такой веры империи стала удача располагать рабами. Сотнями тысяч рабов, азиатов и европейцев. И среди них двадцать две тысячи австралийских военнопленных, которых соображения стратегической необходимости заставили сдаться при падении Сингапура еще до того, как сражение началось по-настоящему. Девять тысяч из них отправят на строительство железной дороги. Когда 25 октября 1943 года паровой локомотив С-5631 с прицепленными тремя вагонами японских и тайландских высокопоставленных особ проследует по всей трассе завершённой Дороги Смерти (первый состав, проделавший этот путь), на всем протяжении его пути будут бесчисленные погребения человеческих костей, среди которых останки каждого третьего из тех австралийцев.

Сегодня паровой локомотив С-5631 горделиво выставлен в музее, образующем часть неофициального военного мемориала Японии, святилища Ясукуни в Токио. Наряду с паровым локомотивом С-5631 в святилище хранится «Книга душ». В нее вписано свыше двух миллионов имен тех, кто пал в войнах, служа императору Японии, с 1867 по 1951 год.

С занесением в «Книгу душ» в этом священном месте приходит отпущение грехов в совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными. На табличке перед локомотивом С-5631 об этом упоминания нет. Нет и упоминания об ужасах строительства этой железной дороги. Нет имен сотен тысяч тех, кто умер, строя железную дорогу. Только ведь нет даже и точно установленного числа всех тех, кто погиб на Дороге Смерти. Военнопленные союзников были всего лишь частичкой (около 60 000 человек) тех, кого рабски использовали на том фарановом предприятии. Наряду с четвертью миллиона тамиллов, китайцев, яванцев, малайцев, тайцев и бирманцев. А то и больше. Одни историки утверждают, что умерло 50 000 рабских тружеников, другие говорят – около 100 000, третьи – 200 000. Никто не знает точно.

И никто никогда не узнает. Имена их уже позабыты. Никакой книги их утраченных душ не существует. Да пребудет с ними хотя бы этот кусок текста.

Итак, в тот день с утра пораньше Дорриго Эванс закончил предисловие к книге рисунков и акварелей Гая Хендрикса, сделанных в лагерях военнопленных, прежде настрого предупредив своего секретаря оградить его на ближайшие три

часа от любых вмешательств, чтобы он смог завершить дело, которое никак не удавалось закончить уже несколько месяцев и которое теперь оказалось существенно просроченным. Даже когда дело было сделано, он чувствовал, что оно стало лишь еще одной его неудачной попыткой понять, как возможно чем-то, облеченным в форму предисловия, запросто разъяснить другим, что такое Дорога Смерти.

Чутье подсказывало: тон его был одновременно и чересчур очевидным, и чересчур личным – почему-то это вызвало у него вопросы, которые он за всю жизнь так и не разрешил. В голове вертелось столько всякой всячины, что ему не удалось хоть что-то выразить на бумаге. Столько всего, столько имен, столько мертвых, а вот поди ж ты, не смог написать ни одного имени. В начале своего предисловия он набросал описание Гая Хендрикса и нечто похожее на контур событий того дня, когда тот умер, в том числе и историю Смугляка Гардинера.

У военнопленных была серьезная причина называть последующее медленное погружение в безумие попросту двумя словами: *«та Дорога»*. Впоследствии для них навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но наверное, даже и так недостаточно: Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным.

Оглядываясь назад на колышки железной дороги под ногами, Дорриго Эванс видел, что вокруг было столько непостижимого, непередаваемого, неразборчивого, необожествляемого, неопишуемого. Колышки объясняли простые факты. Но они ничего не растолковывали. Что такое дорога, раздумывал он, *«та Дорога»*? Дорога – это линия, тянущаяся из одной точки в другую: из реальности в нереальность, из жизни в ад – «длина без ширины», если припомнить Эвклида, давшего определение линии в школьной геометрии. Длина, лишенная ширины, жизнь, лишенная смысла, следование от жизни к смерти. Путь в ад.

Полвека спустя задремавший в гостиничном номере Пар-

раматты Дорриго Эванс резко дернул головой: ему снился Харон, грязный паромщик, переправлявший покойников через Стикс в царство мертвых по цене в один обол, оставленный у тех во рту. Во сне он беззвучно шевелил губами, повторяя слова Вергилия с описанием ужасного Харона: страх наводящий и мерзкий, лицо скрыто за нечесаными космами седых волос, жестокий взгляд горит огнем, грязный плащ, узлом завязанный на плече, свисает до пят.

В ту ночь он лежал с Линетт Мэйсон, а подле кровати держал, как делал всегда, где бы ни находился, книгу, в зрелом возрасте вернувшись к привычке читать. Хорошая книга, пришел он к выводу, оставляет в тебе желание эту книгу перечитать. Великая же книга побуждает тебя перечитать собственную душу. Такие книги попадались ему редко, а с годами и того реже. И все же он отыскивал еще одну Итаку, с которой был связан навеки. Он читал, когда уже перевалило далеко за полдень. Дорриго почти никогда не смотрел, что за книга оставалась на ночь, поскольку она существовала как талисман или как предмет, приносящий удачу, – как какое-то знакомое божество, смотрящее за ним и оберегающее его в мире снов.

В ту ночь книгой стала та, которую подарила ему делегация японских женщин, прибывшая принести извинения за японские военные преступления. Явились они с целой церемонией и видеокамерами, принесли подарки, и один из даров был любопытен: книга переводов японских стихов смер-

ти, результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из жизни, сочинить последнее стихотворение. Он положил книгу на темное дерево тумбочки у кровати, рядом с подушкой, аккуратно выровняв по своей голове. Он верил, что у книг есть аура, которая оберегает его, что если книги рядом не окажется, то он умрет. Без женщин он спал, не ведая печали. Без книги не спал никогда.

Еще раньше днем, листая книгу, Дорриго Эванс наткнулся на поразившее его стихотворение. На смертном одре Шисуи, поэт, мастер хайку, наконец-то внял просьбам о стихах смерти: схватил свою кисточку, изобразил стихотворение и умер. На бумаге же потрясенные последователи Шисуи увидели нарисованный поэтом круг.



Стихи Шисуи колесом прошли по подсознанию Дорриго Эванса – содержательная пустота, бесконечная тайна, ши-

рина без длины, большое колесо, вечное возвращение. Круг – полная противоположность линии.

Обол, оставленный во рту умершего для расплаты с паромщиком.

Путь Дорриго Эванса к «той Дороге» пролегал через лагерь военнопленных на яванском высокогорье, где, будучи полковником, он под конец стал заместителем командира тысячи заключенных солдат, в основном австралийцев. Нескончаемо для них тянулось время, воспринимавшееся как жизнь, что уходит прочь по капелькам или струйкам спорта, образовательных программ и концертов, когда в песнях звучали их воспоминания о доме, когда было положено начало делу всей жизни – придания лоска рассказам о Ближнем Востоке: караваны верблюдов в сумерках, нагруженных песчаником, римские развалины и замки крестоносцев, наемники-черкесы в длинных черных одеяниях, отороченных серебряным позументом, и высоких шапках из черного каракуля, солдаты-сингалезцы, здоровенные мужики, шагавшие мимо них с болтавшимися на шее сапогами. Они с тоской вспоминали девчонок-французенок из Дамаска. В Палестине, проезжая мимо арабов, орали им во все горло из кузова грузовиков: «Еврейские гады!» – пока не познакомились с арабскими работницами из Иерусалима. Орали во все горло из кузова грузовиков, проезжая мимо, евреям: «Арабские гады!» – пока не увидели еврейских девушек из кибуцев (в голубеньких шортиках и белых блузках), которые настойчиво совали им сетки с апельсинами. Всякий раз сме-

ялись над историей Рачка Берроуза, у которого были такие волосы, будто он позаимствовал их у какой-то ехидны, как он, проведя все увольнение в каирском борделе, вернулся, неистово расчесывая себе пах, тем и прозвище свое приобрел, что спрашивал, глянув вниз: «А это что еще за рачки мандавошечьи? Должно быть, с поганных стульчаков в туалете этих египтяшек понабрались, а?»

– Бедняга Рачок, – говорили вокруг. – Бедный чертов негодник.

Долгое время больше ничего особенного не случилось. Дорриго писал по просьбе приятелей любовные письма из каирского кафе, где столы были липкими от пролитой араки, смертельная похоть сочилась в бессмертных похвальбах, неизменно начинавшихся так: «Я пишу тебе это при свете пушечных залпов...»

Затем пришел черед сирийской кампании с ее скалами, сухими катышками козьего дерьма и высохшими листьями олив, на которых ноги разъезжались, и солдаты скользили на склонах в своем тяжелом снаряжении мимо то и дело попадавшегося вздувшегося трупа какого-нибудь сенегальца, погруженные в свои собственные мысли при доносившихся – очень издали – стрекоте, треске и буханье боев и стычек повсюду. Убитые, их оружие и снаряжение валялись, словно камни: везде, неизбежно – и, не считая предостережений не наступить на очередное вздувшееся тело, об этом старались не говорить и не думать. Один из трех киприотов – погон-

щиков мулов – спросил Дорриго Эванса, в какую в точности сторону они направляются. Он не имел о том ни малейшего представления, но даже тогда понял, что обязан что-то сказать, дабы удержать всех шедших с ним вместе.

Стоявший неподалеку мул взревел, уголком глаза Дорриго заметил взлетевший шар грязи от минометного разрыва, он оглядел торговое поле, на котором они стояли, потом вновь перевел взгляд на две карты, свою и погонщиков, ни одна из которых не совпадала с другой ни в одной существенной детали. Наконец, он задал направление по компасу, которое не соответствовало ни одной из карт, – так было со многими решениями, которые Дорриго принимал, доверившись инстинкту, и которые оказывались в высшей степени верными, а если и нет, то, по крайней мере, давали возможность передвигаться, что, как он стал постепенно понимать, зачастую было куда важнее. Он был вторым по значимости командным лицом Эвакуационного пункта 2/7 Австралийских имперских войск (АИВ), располагавшегося у линии фронта, когда были получены приказы свернуть их полевой госпиталь в неразберихе тактического отступления, которому предстояло – уже на следующий день – стать суматохой стратегического наступления.

Остальное оборудование эвакуопункта увезли на грузовиках далеко в тыл, он же остался с просроченными припасами дожидаться последнего грузовика. Вместо него дождался каравана из двадцати мулов с тремя погонщиками-киприота-

ми и свежими приказами для себя продвинуться со своими припасами вперед до деревни у новой линии фронта: в двадцати милях к югу по карте погонщиков и в двадцати шести милях к западу – по его. Киприоты, мелкие болтливые человечки, составляли еще одну часть карнавала союзнических войск, сражавшихся там, в Сирии, против карнавала войск вишистской Франции: мелкая войнушка в гуще войны куда более огромной, и о ней впоследствии никто так никогда и не вспомнит.

То, что должно было занять два дня, растянулось чуть ли не на неделю. На второй день на крутой, ведущей в горы дороге Дорриго Эванс с тремя погонщиками мулов наткнулись на отделение из семи тасманийских пулеметчиков, у которых сломался грузовик. Отделение вел молодой сержант по имени Смугляк Гардинер, и вел в тот же пункт назначения. Пулеметчики переложили свои «виккерсы», треноги и металлические ящики с патронами на свободных мулов, и дальше пошли все вместе. Когда взбирались вверх, Смугляк Гардинер порой тихонько напевал. Они одолевали скалистые склоны и осыпи, шли через горные перевалы, по разбитым деревьям, мимо разлагающихся тел, каменных стен, наполовину державшихся, наполовину рухнувших, вновь и вновь шли сквозь вонь разлитого оливкового масла, воньдохлых лошадей, вонь разбросанных стульев и поломанных столов с кроватями, вонь рухнувших крыш разрушенных домов, пока вражеские семидесятипятки¹⁰ непрерывно бухали впереди и позади них. Когда удалось вновь спуститься в долины, они миновали высохшие каменные стены, которые никак не защитили от двадцатипятифунтовых снарядов солдат, что теперь лежали, упокоившись, среди разбросанного и поломанного снаряжения, оружия и французских касок. Они шагали

¹⁰ Пушки калибра 75 мм, главным образом танковые.

среди мертвых, мертвых за полумесяцем скалистых брустверов, без толку наваленных для защиты от смерти, мертвых со вздутыми животами на сорговом поле, которое вода из разбитого снарядом древнего желоба, разлившись, превратила в мерзкое болото, шагали мимо пятнадцати мертвых в семи домиках деревни, в которых жители пытались укрыться от смерти, мимо мертвой женщины перед разбитым минаретом, чьи пожитки из небольшого коврового узелка разлетелись по уличной пыли, чьи зубы торчали в верхушке тыквы, мимо разорванной в куски мертвечины, смердевшей в сгоревшем грузовике.

Потом Дорриго Эванс вспоминал, как красив был поблекший ковровый узор из красных и белых цветов на узелке, и невесть отчего испытывал стыд, что почти ничего больше не запомнил. Он позабыл острый привкус каменной пыли, висевшей вокруг порушенных деревенских домишек, позабыл, как воняют дохлые худосочные ослики и несчастные дохлые козлы, что за запах у разбитых террас и разнесенных в щепки оливковых рощ, позабыл кислый запах разрывов, тяжкий запах разлитого оливкового масла – все это смешалось в какой-то единый запах, который он привык связывать с человеческими существами, попавшими в беду. Они курили, выталкивая мертвечину из ноздрей, насмешничали, не позволяя мертвым поживиться их мозгами, ели, напоминая себе, что живы, а Смугляк Гардинер принимал ставки на то, что его самого могут убить, и верил, что шансы его все время

растут.

Пробираясь в полночь по кукурузному полю, они вышли на освещенную зелеными вспышками разрушенную деревню, которую вишисты невесть с чего оставили уже после того, как в результате яростной схватки выбили из нее австралийцев. Минометы, которые пустили в ход наступавшие вишисты, превратили оборонявших деревню австралийцев в нечто нечеловеческое: сохнувшее темно-красное мясо, усиженные мухами внутренности, сломанные, перемолотые кости и лица, запрокинутые в оскале торчащих зубов, — эти скалящиеся жуткие зубы смерти стали мерещиться Дорриго в каждой улыбке.

Наконец они добрались до того места, куда было приказано, и убедились, что селение все еще занято вишистами и что его нещадно обстреливает Королевский военно-морской флот. Далеко в море боевые корабли грозно фукали и пыхали, их большие орудия действовали методично, уничтожая городок по строению за раз, переходя от сарая к каменному дому рядом с ним, а потом к постройке за домом. Дорриго Эванс, погонщики мулов и пулеметчики с безопасного расстояния наблюдали, как на их глазах место, где жили люди, превращается в кучи щебня и пыли.

Хотя трудно было предположить, что там осталось еще хоть что-то немертвое, снаряды все равно продолжали сыпаться дождем. Днем вишисты неожиданно отступили. Австралийцы пошли в наступление по желтой земле, выжжен-

ной разрывами снарядов, используя для проходов рухнувшие стены террас, по выбитым плитам и в обход все еще нетронутых клубков корней поваленных деревьев, покореженных винтовок и артиллерийских орудий, мимо орудийных расчетов, уже раздувшихся и разлагающихся в крови, некоторых можно было бы принять за спящих на полуденном солнышке, если бы из их выскочивших из орбит глаз не сочилось нечто желеобразное и не застывало бы, мешаясь с грязью на поросших щетиной щеках, чумазой клейкой массой. Никто не чувствовал ничего, кроме голода и усталости. Впереди беззвучно появился с трудом переставляющий ноги козел, у которого сквозь вырванный бок торчали наружу ребра и кишки болтались, он задирает голову безо всякого шума, словно бы мог прожить на одной только стойкости. Видимо, на ней одной и жил.

– Ишь, сам мистер *Beau Geste*¹¹, – проговорил долговязый рыжеволосый пулеметчик. Козла все же пристрелили. Полное имя пулеметчика было Галлиполи фон Кесслер, садовник-яблочник из долины Юон на Тасмании, взявший за обыкновение приветствовать других, лениво салютуя по-нацистски. Имя досталось ему от отца-немца, воображавшего, что он что-то значил в Старом Свете, а потому прибавившего аристократическое «фон» к крестьянской фамилии Кесслер, а потом впавшего в ужас, что потерял в Новом Свете все, когда в угаре антигерманской истерии Первой миро-

¹¹ Герой романа П. Рена «Бо Джест».

вой дотла сожгли его сарай. Горное селение за Хобартом, где их семья жила вместе с другими немецкими переселенцами, скоренько сменило название Бисмарк на Коллинзвейл, а Карл фон Кесслер заменил своему сыну имя, данное в честь деда, на такое, что почитало участие Австралии в катастрофическом вторжении в Турцию за год до рождения его сына¹². Имя это было слишком грандиозно для лица, очень походившего на усохшую сердцевину яблока. Звали парня просто Кес.

В самом селении они прошагали мимо раскаленного до красна горячего вишистского танка, перевернутых грузовиков, разбитых бронетранспортеров, изрешеченных пулями легковых машин, сваленных в кучи боеприпасов, разбросанных по всем улицам бумаг, одежды, снарядов, пулеметов и ружей. Посреди этого хаоса и руин стояли открытые магазины, шла торговля, люди расчищали завалы мусора, словно после стихийного бедствия, а свободные от службы австралийцы бродили вокруг, что-то покупая, а что-то и приворачивая на память.

Уснули они под лай шакалов, пришедших поживиться мертвечиной.

¹² Речь идет о Дарданелльской операции, развернутой в ходе Первой мировой войны странами Антанты с целью захвата Константинополя и открытия морского пути в Россию. Военные действия привели к громадным людским потерям и обернулись неудачей для союзников.

Проснувшись с первыми проблесками света, Дорриго Эванс увидел, что Смугляк Гардинер развел костер прямо посреди главной улицы. Сам он сидел у костра в роскошном кресле, обитом голубым шелком с вышитой серебряной рыбкой, перекинув ногу через подлокотник, поигрывая смятой пачкой французских сигарет. Кресло представилось Дорриго морем, а Смугляк своим темным худощавым телом, одетым в грязное хаки, напоминал ему ветвь бычьих водорослей, вынесенных морем на чужой берег.

Вещмешок Смугляка Гардинера, казалось, был размером всего в половину любого другого, зато в нем содержался, похоже, неисчерпаемый запас еды и сигарет (выторгованных на черном рынке, добытых или украденных) – маленьких чудес, за которые он удостоился еще одного имени – Черный Принц¹³. Только он кинул Дорриго Эвансу жестянку португальских сардин, как вишисты принялись молотить по селению из семидесятипятиок, крупнокалиберных пулеметов и с единственного самолета, вылетевшего на свободную охоту пострелять. Только все это, казалось, происходило в другом месте, а потому они пили французский кофе, который отыскал Джимми Бигелоу, и трепались в ожидании, когда прика-

¹³ Прозвище Черного Принца носил принц Уэльский Эдуард (1330–1376), бывший удачливым и безжалостным полководцем.

зы или война доберутся до них.

Кролик Хендрикс, хлипкий мужичонка с плохо подогнанными зубными протезами, заканчивал рисунок на обороте почтовой открытки с видом Дамаска, который должен был послужить заменой расползающейся фотографии жены Шкентеля Бранкусси, Мэйзи. Мелкие трещинки паутиной расползлись по ее лицу, а то, что еще осталось от слоя с изображением, свернулось в такое множество крохотных осенних листочков, что об облике женщины теперь приходилось лишь догадываться. Карандашный рисунок Хендрикса запечатлел ту же позу и шею, однако изображение вокруг глаз больше отдавало Мэй Уэст¹⁴, и куда больше отдавало оно Мэй Уэст вокруг груди, открытой настолько, насколько Мэйзи не посмела бы открыть никогда, вообще вид получился более откровенным и соблазнительным, говорившим о вещах, о которых Мэйзи заговаривала редко.

– Объясни мне, – говорил Джимми Бигелу, – почему мы косим пулеметами цепи черных африканцев, сражающихся за Францию, которые с неменьшим рвением убивают нас, австралийцев, сражающихся за англичан на Ближнем Востоке?

Рисунок (вызвавший сомнения в подлинном сходстве с оригиналом, а потому воспринятый как неведомое блюдо-

¹⁴ Мэй Уэст (1893–1980) – американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных звезд Голливуда. Особая популярность пришла к ней в 1930-е – 1950-е гг. Именем Мэй Уэст называли некоторые образцы снаряжения и военной техники, а плакаты и рекламные афиши с ее изображением расклеивались в расположении казарм.

действие) обеспокоил Шкентеля Бранкусси. Но поскольку все остальные решили, что жена его выглядит прекрасно, он предложил Кролику Хендриксу в уплату за него свои часы, заявляя, что это его девушка. Кролик от платы отказался, взялся за свой альбом и принялся рисовать групповой портрет отряда за утренним кофе.

– Это ж даже, мать ее, восточнее, дрючь ее, Австралии, – сказал Джек Радуга. У него было лицо отшельника, выразался же он как портовый грузчик, хотя сам, фермер, выращивавший хмель, не был ни тем ни другим. – Это ж север. Чего ж дивиться, что мы в толк не возьмем, где тут следующее селение. Мы ж даже не знаем, где находимся. Это ж далеко, мать его, на север.

– Ты всегда был коммунякой, Джек, – отозвался Смугляк Гардинер. – Ставлю двенадцать к одному, что уже к завтраку я буду трупом. Справедливей этого не предложишь.

В ответ Джек Радуга сообщил, что с большей охотой пристрелил бы его враз и прямо на месте.

Дорриго Эванс выложил десять шиллингов при двадцати к трем на то, что сержант уцелеет на войне.

– Лады, – кивнул Джимми Бигелу. – Поддерживаю. Ты выживешь, Смугляк.

– Бросьте в воздух две монетки, – заговорил Гардинер, доставая из мешка у себя в ногах бутылку коньяка и наливая каждому по чуть-чуть в кофе, – и можете ставить на то, как выпадет, только по факту, если на обеих три раза подряд

выпадут орлы, все равно статистически достаточно вероятно, что и в следующий раз обе опять лягут орлами. Так что можно опять ставить на двух орлов. Каждый бросок всегда – первый. Ну, разве не миленькая теория?

Секунду спустя война добралась-таки до них. Дорриго Эванс стоял рядом с креслом, наливал кофе, а Рачок Берроуз только прибыл с полевой кухни с горячим термосом, содержащим их завтрак, когда они услышали на подлете снаряд семидесятипятки. Смугляк Гардинер вскочил с кресла, ухватил Дорриго Эванса за руку и повалил на землю. Взрыв пронесся по ним космической волной.

Когда Дорриго открыл глаза и огляделся, голубое кресло вместе с маленькой серебряной рыбкой исчезло. Посреди тучи пыли стоял какой-то арапчонок. Ему заорали, чтоб ложился, а когда мальчишка и ухом не повел, Рачок Берроуз встал на колени и стал махать ему, мол, ложись, а когда и это не возымело действия, вскочил и побежал к мальчишке. В этот миг вдарил другой снаряд. Силой взрыва арапчонка швырнуло на них, горло его располосовала шрапнель. Он умер прежде, чем кто-то добрался до него.

Дорриго Эванс повернулся к Смугляку Гардинеру, все еще державшему его. Рядом с ним Кролик Хендрикс совал себе в рот пыльные зубные протезы. От Рачка Берроуза ничего не осталось.

– Люблю я держать свои ставки при себе, – выговорил Черный Принц.

Дорриго хотел уж было ответить, но тут с дальнего фланга прилетел на свободную охоту вражеский самолет. Взрыв над ними, самолет тут же обратился в клуб черного дыма. Вывалившаяся из него крапинка распустилась в парашют, и стало ясно, что летчик спасся. Летуна ветром несло на них, и Петух Макнис подхватил винтовку одного из киприотов и прицелился. Дорриго Эванс отбил дуло в сторону, веля не мудить белым светом.

— А Рачок?! — завопил Петух Макнис, к губам у него прилипла щеченка, а глаза дико таращились белыми шарами. — Это что, тоже мудеж белым светом? А мальчишка тот? Так, что ли?

Лицо у Петуха было такое, что казалось красивым, только оно, как отметил Джек Радуга, если вблизи поглядеть, вроде как из запчастей собрано. Слава о нем как о непутевом солдате следовала за ним неотступно, и когда он снова вскинул винтовку к плечу, прицелился и выстрелил, все удивились: Петух попал в цель. Парашютист дернулся, словно его тряхнуло неожиданным резким порывом ветра, потом разом обвис.

Позже в тот день, когда они наконец ели уже остывшую кашу, которая была в горячем коробе, что принес Рачок Берроуз, никто не сел рядом с Петухом Макнисом.

И все пошло своим чередом: шуточки, рассказы, несчастные дураки, которые так и не вернулись обратно, дворец в Триполи, реквизированный под центр отдыха Австралийских имперских войск (АИВ), азарт игр в орлянку двумя монетами, в «корону и якорь», пиво и братва, работницы в комнатке, заглянувшие из коридора, чтобы позвать сыграть в орлянку и убедиться, не улыбнется ли им удача, футбольный ч в горных селениях против сирийских мальчишек. А потом, после того как они сдались, на Яве – сборщицы чая в мокрых саронгах, которые, как они, случилось, видели, возвращаясь из походов за хворостом, становились такими красавицами, переодевшись в сухие саронги и выбрав гнид друг у друга из волос. «Господи, – бормотал Галлиполи фон Кесслер, когда они проходили мимо такого, – вот оно, сущее для меня наказание».

Однако наказание их только-только начиналось. Через полгода их посадили в грузовики и повезли к побережью по пути к месту нового строительства в Сиаме. На берегу тысячу пленных запахали, точно сардины в банку, в грязный трюм какой-то проржавевшей посуды и три дня волокли по морю до Сингапура, а потом отправили пешим маршем в лагерь для военнопленных Чанги. Место было приятное: двухэтажные белые бараки, симпатичные на вид и полные

воздуха, аккуратные газоны, опрятно одетые солдаты-осси¹⁵, подтянутые и сытые, офицеры с щегольскими тросточками и красными вставками на носках, прекрасный вид на Джохорский пролив и огороды под овощи.

Истощенные, пестро одетые в австралийскую и голландскую форму, многие без обуви, солдаты Дорриго выделялись на общем фоне. «Яванская шваль» – так окрестил их бригадный генерал Лом Каллаган, командовавший австралийскими пленными лагеря Чанги, который тем не менее, невзирая на настойчивые просьбы Дорриго Эванса, отказывался снабдить их одеждой, обувкой и провиантом. Зато попытался (и не сумел) сместить Дорриго Эванса с должности их командира за его нарушавшее всякую субординацию поведение, выражавшееся в требовании к Каллагану распечатать свою складскую кубышку.

Малыш Плакса Куни предложил Другану Фахи план побега. План был такой: затесаться в рабочую бригаду на сингапурские верфи, а там забиться в ящики или еще какую тару и, сидя в ней, загрузиться на какое-нибудь судно и таким способом вернуться обратно в Сидней.

– Хороший план, Плакса, – оценил Друган Фахи. – Только говенный.

Они сразились в регби с командой заключенных верхней части лагеря и проиграли восемь очков, зато перед этим услышали произнесенное в темпе вальса обращение Бара-

¹⁵ Так называют себя сами австралийцы, а с их легкой руки и все остальные.

нней Головы Мортонa, начавшееся словами, которые сделались для них бессмертными: «Одно только скажу вам, парни, и первое вот что...»

Две недели спустя «яванская шваль» оставалась в том же тряпье, в каком и прибыла, в том числе и не подыскавший себе тару Плакса Куни. Теперь, уже официально именуемые «сводным отрядом Эванса», они были доставлены на железнодорожный вокзал и распиханы по закрытым цельнометаллическим вагончикам, в которых обычно перевозят рис, по двадцать семь человек в каждый, места не хватало, даже чтобы присесть. Их везли по тропической жаре сквозь туннели в каучуконосных деревьях и джунглях, мимо просветов между бесконечными, взмокшими от пота землекопами, в щели приоткрытой двери тянулась спутанная зеленая масса, мелькали малайки в саронгах, индианки, китайянки-кули, все как одна в нарядных платках на голове, работавшие в воде рисовых чеков, а они смотрели на все это из тьмы своих тесных лютых печей. Они были солдатами и, как и всякие молодые люди, не ведали самих себя. Вот и ехали теперь навстречу тому, что таилось в них самих.

Под ними перестукивали колеса на стыках железнодорожных рельсов, а их самих, мокрых и скользких от пота, мотало в сплетении рук и ног. Ближе к концу третьего дня замелькали рисовые поля и заросли сахарных пальм, а еще тайские женщины, смуглые и полногрудые, с волосами черными, как вороново крыло, и обворожительными улыбками. В вагонах

приходилось сидеть по очереди, спали они, перекинув ноги через соседа, укутанные вонью застаревшей блевотины, испоганенных тел, дерьма и мочи, стоявшей столбом, — так и проехали, вымазанные в саже, с ноющей или колющей болью в сердце, тысячу миль, пять дней без еды, сделав шесть остановок и оставив трех покойников.

На пятый день после полудня их высадили с поезда в Понпонге на северо-востоке Таиланда, в сорока милях от Бангкока. Подогнали крытые грузовики, в кузов машины заталкивалось по тридцать человек, будто скот, обезьянами повисая друг на друге, и их повезли через джунгли по дороге, которую укрывали шесть дюймов мельчайшей пыли. Над ними порхали яркие голубые бабочки. Какой-то пленный из Западной Австралии прибил одну такую, когда та уселась ему на плечо.

Подступала ночь, а дорога все не кончалась, поздно вечером они добрались до Тарсао¹⁶, все в грязи и дорожной пыли. Спали на голой земле, а на рассвете их снова запихали в грузовики и еще час везли в горы по узкой, не больше воловьей тропы, дороге. Дорога кончилась, они вылезли из машин и почти до вечера шли пешком, пока наконец не вышли на небольшую опушку у реки.

В благословенную эту реку тут же попрыгали искупаться. Пять дней в стальных сундуках, два дня в кузове грузовиков... это какой же прелестью вода покажется! Блаженство

¹⁶ Лагерь для военнопленных солдат и офицеров Британской империи.

плоти, блага запредельного мира: чистая кожа, невесомость, струящаяся вселенная текучего покоя. Они бревнами повалялись на свои пожитки и спали без задних ног, пока на расвете их не разбудили пронзительные крики обезьян.

Охранники прогнали их маршевой колонной три с половиной мили по джунглям. Какой-то японский офицер, взбравшись на пень, обратился к ним со словами:

– Благодарю вас за долгий путь сюда, чтобы помочь императору с железной дорогой. Быть заключенным великий позор. Великий! Верните себе честь, строя железную дорогу для императора. Великая честь. Великая!

Он указал на цепочку землемерных колышков, размечавших маршрут, по которому пройдет железнодорожный путь. Колышки быстро пропадали в чаще джунглей.

Они работали на расчистке тикового леса под первый участок дороги, и только после того, как через три дня задание было выполнено, им сообщили, что теперь им самим придется соорудить себе лагерь в местечке в нескольких милях отсюда. Густые заросли бамбука в восемьдесят футов высотой, громадины хлопковых деревьев с их горизонтальными ветвями, китайскую розу и кустарник пониже – все это они рубили, валили в кучи, жгли, а потом разравнивали, группки полуголых людей появлялись из клубов дыма и пламени и исчезали в них, двадцать мужиков разом, словно упряжка волов, тянули за канат, оттаскивая сваленный, весь в шипах, зловредный бамбук.

Затем они отправились заготавливать лес и прошли мимо расположившегося в миле английского лагеря, от него несло смрадом, там было полно больных, офицеры мало что делали для своих солдат и много – для самих себя. Английские уорент-офицеры¹⁷ патрулировали реку, не позволяя своим солдатам ловить рыбу: у некоторых английских офицеров все еще были с собой рыболовные удочки, и они не хотели, чтобы простые солдаты браконьерствовали, вылавливая из воды рыбку, которая, по их офицерскому понятию, предназначалась им.

Когда австралийцы возвратились на опушку, где был их лагерь, пожилой японский охранник представился как Кэндзи Могами. И ударил себя в грудь.

– Это значит «горный лев», – сообщил он и улыбнулся.

Кэндзи Могами показал пленным, что от них требуется: с помощью длинных малайских ножей, парангов, нарезать и скрепить прорезями основу крыши, надрать длинное лыко из внутреннего слоя коры китайской розы, обвязать им места соединения, покрыть крышу пальмовыми листьями, а пол застелить расщепленным и сплюснутым бамбуком, да чтоб во всем этом не было ни гвоздика. После нескольких часов возведения первых лагерных жилищ пожилой охранник-японец сказал:

¹⁷ Уорент-офицер – воинское звание, а также общее наименование штатной категории в армиях ряда стран, преимущественно англоговорящих. По статусу уорент-офицер занимает промежуточное положение между сержантом и младшим офицером и выполняет специальные функции технического специалиста.

– Хорош, солдатики, ясуми¹⁸.

Заклученные сели.

– А старик не так уж плох, – заметил Смугляк Гардинер.

– Самый из них отборный, – хмыкнул Джек Радуга. – А знаете что? Будь у меня хоть полшанса, я б его тупой бритвой от глаз до сраки развалил.

Кэндзи Могамы опять стукнул себя в грудь и возгласил:

– Горный лев как Бинга Кросби.

И горный лев принялся напевать:

Ты ва-ААА-ляй, ко всему относись в позитиве,

Негатив из башки изгоняй,

«Да!» тверди, что б тебя ни спросили.

И пода-аааальше Промежку-мамзель поссылай,

Под паскуду Промежку нееееее подлезай!

¹⁸ Краткий отдых, перекур (яп.).

В то, первое время на той Дороге, когда у них еще хватало сил, солдаты устраивали вечерние концерты на небольшой сцене из бамбука, с обеих сторон освещенной кострами. Среди зрителей рядом с Дорриго Эвансом стоял командир военнопленных, полковник Рексрот, образчик несочетающихся контрастов: голова разбойника с большой дороги на теле мясника, аристократический выговор и все, ему подобающее, сошлись в сыне неудачливого мануфактурщика из Балларата, австралийце, который из кожи вон лез, чтоб его принимали за англичанина, человеке, в 1927 году вступившем в ряды армии в поисках возможностей, которые обходили его стороной во всех других областях жизни. Хотя они с Дорриго Эвансом были в одном звании, благодаря шишкам, набитым за опыт строевой, а не медицинской, как у Дорриго, военной службы, Рексрот стал из них двоих старшим.

Обратившись к Дорриго Эвансу, полковник Рексрот заявил, что убежден: всех сильных сторон, присущих им как британской нации, хватит, их британская честь мундира устоит, их британский дух не будет сломлен и их британская кровь сплотит их в одолении невзгод.

– Неплохо бы к этому еще и хинина немножко, – заметил Дорриго Эванс.

Небольшая группа англичан, пришедшая к ним в лагерь,

разыгрывала сценку о пленном немце времен Первой мировой. Ночной воздух был до того насыщен роящимися насекомыми, что исполнители на сцене виделись как бы слегка в тумане.

Полковник Рексрот ответил, что ему не нравится отношение коллеги. Видеть во всем только отрицательное. Необходим положительный настрой. Торжество национального характера. И так далее.

– Мне никогда не приходилось иметь дело с национальным характером, – признался Дорриго Эванс. Зрители-австралийцы принялись одобрительно поддерживать немца-заключенного на сцене. – Зато я вижу, – продолжил Дорриго, – жуткую кучу болезней от недоедания.

– Мы располагаем тем, что имеем, – сказал полковник Рексрот.

– Не говоря уж, – подхватил Дорриго Эванс, – о малярии, дизентерии и тропических язвах...

Спектакль окончился под одобрительные выкрики и свист. Дорриго наконец-то вспомнил, что ему всегда напоминал полковник Рексрот: груши «бере боск», которые когда-то ел отец Эллы. И он понял, до чего же он голоден, ведь ему эти груши с их шершавой кожицей не нравились никогда, а вот теперь он отдал бы почти все, чтобы съесть хоть одну из них.

– ...Болезнях от голода, – довершил перечень Дорриго Эванс. – Лекарства бы не помешали. Но еда и остальное –

еще лучше.

Если их работа на строительстве железнодорожной линии для японцев еще и не стала безумием, которое принесет им гибель, то она уже начинала, забираясь глубоко в тела заключенных, взыскивать изрядную плату с их здоровья. Лес Уитл, потерявший пальцы от пеллагры¹⁹, теперь играл на приходящем в негодность аккордеоне (инструмент держался на прошивках и заплатках из буйволово́й кожи) с помощью бамбуковых палочек, привязанных к кисти руки. Певший под его аккомпанемент Джек Радуга уже потерял зрение. Глядя на него, Дорриго Эванс гадал, то ли авитаминоз, то ли совокупность последствий нескольких недугов привели к этому, только какова бы ни была причина, полковник болезненно сознавал, что излечить это, как и почти все остальные распознанные им болезни, могла бы еда. Отшельнический лик Джека Радуги теперь раздулся и походил на тыкву, а истощавшее тело тоже странно пухло от бери-бери²⁰, придавая язве (она разъедала вздутую голень до кости) вид подслеповатого розового зрачка, глазевшего из раны на толпу военнопленных, на их не менее уродливые отметины, имевшиеся у многих, словно бы в надежде увидеть наконец-то публику своей мечты.

¹⁹ Заболевание, следствие длительного неполноценного питания, возникающее в результате недостаточности в организме витаминов группы В.

²⁰ Болезнь, вызываемая нехваткой витамина В₁ в организме. Другое название – полиневрит.

Теперь исполнители разыгрывали на сцене эпизод из фильма «Мост Ватерлоо», где Лес Уитл был за Роберта Тейлора, а Джеку Радуге досталась роль Вивьен Ли. Они шли навстречу друг другу по бамбуковому мосту.

– Я думал, что больше не увижу вас никогда, – произнес Роберт Тейлор в обличье беспалого Леса Уитла старательно, если не вычурно, выговаривая слова на лондонский манер. – Целая жизнь прошла.

– И я вас тоже, – согласилась Вивьен Ли в обличье слепого, распухшего, покрытого язвами Джека Радуги.

– Милая, – проворковал Лес Уитл. – Вы совсем не изменились.

Среди зрителей прокатился громкий смех, после чего исполнители запели песню «Старое доброе время» на слова Роберта Бернса, ставшую музыкальным зачином фильма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.